



И. Лукаш

Цветы
ядовитые

БИБЛИОТЕКА АВАНГАРДА

XXX



Salamandra P.V.V.

**Иван
ЛУКАШ**

**ЦВЕТЫ
ЯДОВИТЫЕ**

Сост. и коммент.
С. Шаргородского

Salamandra P.V.V.

Лукаш И. С.

Цветы ядовитые. Сост. и комм. С. Шаргородского. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 50 с. — (Библиотека авангарда, вып. XXX).

И. С. Лукаш (1892-1940) известен как видный прозаик эмиграции, автор исторических и биографических романов и рассказов. Менее известно то, что Лукаш начинал свою литературную карьеру как эгофутурист, создатель миниатюр и стихотворений в прозе, насыщенных фантастическими и макабрическими образами вампиров, зловещих старух, оживающих мертвецов, рушащихся городов будущего, смерти и тления. В настоящей книге впервые собраны произведения эгофутуристического периода творчества И. Лукаша, включая полностью воспроизведенный сборник «Цветы ядовитые» (1910).

© S. Shargorodsky, состав, биогр. очерк, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018

Я СЛАВЛЮ!

Закованные в железо и медь легионы императора Цезаря,
ткань истлевших знамен старой гвардии,
артиллерийский снаряд,
свист пуль, дробящих черепа и вырывающих мясо,
я славлю.

Траурный гимн полунощной заутрени,
тихий звон шага под сводом собора,
запах ладана от риз парчевых,
молитвенно-шумные вздохи органа,
и трепетанье светлых хоругвей с женственным ликом
Христа
славлю я.

Нож, с размаха разящий быка в дымном сраде
зал скотобойни — я славлю.
Торреадора, сорвавшего в агонии жемчужное шитье своей
куртки,
грудю кровавых, подернутых паром, кишек на арене
и черного, с розовой пеной у рта, быка,
быка, несущаго смерть на конце крученого рога —
я славлю.

Землю, брошенную гигантскими пальцами, как
мяч в голубой провал вселенной
и грохот движения круглых планет, —
славлю я.

Милую ласточку, мелькнувшую изящной тенью
под белым и сонным в сумерках озером,
Легкий девичий след на снегу, —
славлю я.

Душное дыханье орхидей и нарциссов,
Пламень ароматных желтых свечей черной мессы,
Воспаленные губы, укус
и сцепленный поток тел сплетенных
я славлю.

Тихую Христову рабыню, приносящую каждое утро
полевья маргаритки и мирты к престолу
Девы Марии, —
я славлю.

Я славлю Галла, жилистым кулаком разбившаго
мраморную герму.
Волчью стаю бледных и безумных поджигателей храмов,
музеев и фабрик — я славлю.

Пыльную тишину переулков старого города,
монету старинную,
мертвый шелк бледной робы,
старинную книгу с застёжками и
с гравюрами на шаршавой бумаге
и пудренную пастораль —
я славлю!

БОЛЬНЫЯ ГРИМАСЫ

1. СИРЕНЬ В ГРАНЕНОМ ФИАЛЕ

В то лето мы жили на даче.

Я помню, как тетя Рая, рассказала мне сказку про маленькую царевну.

Ее любил тихий паж, пришелец из стран заморских. В солнечной царевниной стране жил черный колдун. Он унес царевну из ее стеклянных покоев, а паж искал и в саду благоуханно-сиреновом царевна отозвалась пажу...

Жених сестры привез зеленый фиал ко дню ее рождения. Я помню душистое дыханье сиреневых кудрей в фиале.

Мне было десять лет и я искал царевну.

Никто не отозвался мне из сирени — я разбил и граненый фиал. Лицо сестры изломалось старушечьей гримасой и стало злым. Мне больно было, но я молчал. Мне потому было больно, что никто не отозвался мне.

Я никогда, вероятно, — не встречу эту маленькую царевну. Она приходит ко мне только в тихих сиреневых снах.

2. ПОЛИШИНЕЛЬ

Он смешной Полишинель — он всегда смеется.

Когда ему пунцово раскрашивали картонные щеки и подрисовывали уголки тонких губ, — он смеялся. Он смеялся, когда ясноглазые дети в игре помяли его горб и оторвали бубенцы колпака. Он смеялся за тяжелым комодом, брошенный в густую, серую пыль... Он и теперь смеется... Крысы отгрызли ему румяные щеки, плесень чердака разъела шутовской балахон. Один стеклянный глаз выбит, а другой щурится — такой блестящий, веселый. Смотрите! Он сейчас расхохочется этот смешной Полишинель.

3. КАРЕТЫ

У факельщиков траурные кафтаны пахли нафталином и сыростью.

Черный гроб виделся мутным пятном между фонарей на катафалке. Было много карет. Оне тонули в мутных сумерках улиц, мерцали желтыми огнями сквозь прозрачный крэп. В каретах на твердых плюшевых подушках старухи сидели. У них лица в паутине морщинок и золотые колечки на костлявых пальцах...

Кареты, кареты... Много карет.

Черные блестящая с электрическими фонарями. Лошади бегут, привычно откидывая разбитыя ноги. Пьяно кричат кучера.

Мелькнул в окне мальчик с образом — томный, в шелковой рубашке.

Кареты, кареты... Много карет.

4. МЫЛО МОЛОДОСТИ

Это совсем маленькая история.

Жил один поэт, бедный как церковная мышь. Он отдал свои робкия песни людям. Газеты петитом напечатали заглавие его книжки, а поэт голодал...

Он умер зимою, в своей обледенелой мансарде и только цветы, разцветшие на разузоренных морозом стеклах, пели шопотливья мессы над ним.

У другого был маленький морщинистый череп и пухлые красныя руки. Он смешал толченый кирпич с духами и жиром и назвал это — Мылом Молодости. Его рекламы безстыдничали на заборах, сэндвичи в торжественной процессии месили уличную грязь.

— Мыло Молодости. Мыло Молодости.

Когда он умер, катафалк везли шесть лошадей и у факельщиков были белые цилиндры. — Ах! это хоронят знаменитого изобретателя «Мыла Молодости», но — почему же нет музыки? — говорили в толпе.

Может быть жаль, что мы не хотим изобрести какое-нибудь мыло?

5. ДЕВОЧКА С СОБАКОЙ

Шел дождь и прохожие туманились в полосах изменчиваго света. Я заметил перед собою маленькую девочку с собакой. Девочка вела эту ленивую рыжую собаку на блестящей цепочке.

Кто-то толкнул девочку и, звякнув, цепь выпала из ея рук.

Я думал, — собака бросится, сбивая с ног испуганных людей, отбрасывая сильными ногами стальную цепочку.

Я думал, — собака унесется прыжками в туманные поля и будет бежать, не отдыхая...

Собака ожидала маленькую госпожу, сидя в грязи на задних лапах. Девочка подняла цепь и оне пошли дальше.

6. ШУТКА СМЕРТИ

Он оттолкнул покорную, как старая любовница жизнь, — разбив выстрелом свой череп.

«Мне скучно жить и все надоело» — писал он четкими буквами в предсмертной записке.

В мансардах, где живут маленькие модистки, поэты и рабочие, она убила себя. Она, эта веселая наивная девушка, жаждавшая смеха, танцев и солнца... Когда взломали дверь и потушили уголья на удушливо-раскаленной жаровне, девушка была уже мертва. В заледенелых пальчиках нашли записку:

— «Pierre не пошел со мною в театр, потому что я плохо одета. Я очень хочу жить, но у меня нет жакета новаго»...

Звякнула браслетами Смерть и намотала две серья ниточки в ворох нитей на железных перчатках.

7. ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

— Папа купи мне солдатиков — сказал ребенок, заглядывая в большое окно магазина игрушек.

За окном висели белые паяцы, румяные куклы и стоя рядами солдатiki в деревянных и оловянных мундирах с медными пуговицами.

Отец виновато зашептал, поправляя грязный шарф.

— Ну, детка — у нас нет хлеба, а тебе нужны солдатiki.

И он опять протянул свою тонкую руку и просит одноко, пряча глаза от прохожих.

— Подайте на хлеб. Подайте на хлеб.

— Папа, купи солдатиков... ты погляди, — у них красные руки и румянец во всю щеку. Я оторву их круглые глупые головки и мы с тобой сварим горячий суп...

Какой-то господин в больших серых галошах, бросил в протянутую ладонь тусклую копейку.

8. СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ

Она вырывалась из рук дворников в шубах и те напрягли заскорузлые кулаки, тяжело дышали, натужив злобные

лица. Городовой не прикасается к ней. У городского на руках белая, вязанная перчатка и подбородок гладко выбрит. Проститутка кричит тяжелые безстыдные слова. Плюет в скуластыя лица, метя в свинцовые, круглые глаза...

Щенок вздрагивает ножкой, отрезанной у сгиба. Закатывает мутные глазки и бьется головой о спокойно-блестящие рельсы.

Она подняла щенка и целовала, как мать, — его сухой, холодный носик. Густая кровь красными полосами бороздила руки, ползла на грязный шелк юбки.

9. НА ПЛОЩАДКЕ

Острые, морозные щипки теребили уши, пеленал холодной паутиной мороз. Поезд шел полным ходом, выкидывая грязные темные клубы дыма. Я стоял на площадке. Хотелось качаться и вздрагивать в такт поезду и кричать что-нибудь смешливое и громкое бегущим серым полям.

На передней площадке стояла девушка.

Ея маленькая рука в золотисто-коричневой перчатке крепко держалась за обледенелую решетку. Я видел изгиб ее спины и волосы в инее розовом. Желтый башлык бился о чугун, трепетал пушистыми концами.

— Вероятно, у ней радостное молодое лицо, — у этой девушки.

Мелькнул ободок обручального кольца, когда старая дама с красными мятыми цветами на черной шляпе, тронула девушку за рукав пальто. Девушка повернулась и я увидел ее лицо — немое и желтое с дымчатыми очками на глазах. И глаза были мутны, как студень, и, выгибались из под слипшихся век. В разрез пухлых губ обнажились мелкие черноватые зубы...

Старая дама увела ее в вагон — девушку, в золотисто-коричневых перчатках.

ЦВЕТЫ ЯДОВИТЫЕ

СМЕРТЬ

Кончилась черная месса в замковой часовне.

Колокольные звоны привычно бросали к ночи зовы гулко-звонящие. Тонкой вуалью вился ладан в корридорах стрельчатых и узких. И шли монахи. Монахи безшумные туда шли, где под шелками, в алькове холодном, король Франциск умирал.

В амбразурах окон, у кожаных обоев жалась толпа вассалов и камер-фрейлин. Монахи альков окружили и пели песнопенья, угрюмая, как дождь осенний. К окнам цветистым льнули колокольные зовы, привычные.

Лицо восковое зажглося словами. Рукой отстраняя руки хирурга, с постели убранной поднимался король Франциск. И говорил он:

«Прочь. Уходите вы — прочь, птицы черныя с головами голубых мертвецов. Мы не хотим ваших гнусавых молитв... И завтра пусть будет повешен под колокольной звонарь. Безпокойный звонарь... Слушайте. Мы — говорим вам»...

И рыцарь поднялся и сел на постели. Теплая кровь змеею сбежала с уголка губ и расплзлася в платке.

«Мы говорим вам... Огни зажгите. Море огня. И принесите ядовито-прекрасных цветов, зачавших цвет свой в влажной тьме оранжереи. И расцветите ими наш скорбный альков.

Пусть смеются сладострастно-визгливые скрипки. Буйно трепещет орган. А вы пляшите, пляшите так же, как вы плясали на нашей свадьбе. Мы бал даем... Последний».

И бал начался. Загорелись призывами страстными скрипки, им вторил насмешливо-угрюмо орган. Орган им вторил раскатами смеха, трепетом мощным.

Звоны глухие, тьму призывавшие, застыли, прервались.

Бал начался. Огнями залитыя, убитыя смехом музыки — сжались тени. Ушли. С ними монахи ушли, бормоча молитвы и заклинания против сатаны.

Танцы дрожали. Горели огни. Серебрянно разсыпался смех. Свистом холодным свистели платья камер-фрейлин, и бряцали шпоры. Бал вырос, хохотом хмельным хохотал...

В алькове, цветами усыпанном — цветами увядшими, труп вытянулся. Скользкий и твердый.



ЧЕРНООКИЙ ВАМПИР

Дождь бился в пляске дикой. Скакал по острым черепичным крышам. Ветер сразбега бил в дрожащая стекла. Мигали насмешливо тьме — огни запоздалые ночи.

Он в дверь постучал.

В дверь, обитую шубою волка, с шкуркою крысы в углу. Засовы скрипели, засовы ржавые. Голос скрипучий ему кричал. Голос скрипучий, как ржавые засовы:

«Бездомник. Что надо от меня?.. Ты — кто?»

«Ведь, знаешь... Ну, — отвори же!»

Под сводом, низким, в коридоре, смердящем крысами — толкнул он другую дверь...

У камина, где красным золотом пылали раскаленные угли, в кресле костлявом, сидела старуха. Старуха сидела с лицом посинелым, с губами, горевшими кровью. Кот черный, метая искры, терся о плечи. Спокойно смеялись зеленые глаза. Спина изогнулась.

— Ты ко мне? Зачем?

— Послушай... Послушай, старуха. Ночью вчера я увидел коня у мостов. К нему подошел и вскочил. И понесся.. Перед дверью твоей — конь сгинул. Я стукнул к тебе. Ты послушай... Когда вечер бредет по болотам в синем пологе я видел ее. Женщину видел. Каждый вечер в саду моем, на мраморной скамье. Серая женщина, в мехе крысином, с телом змеи уползающей. И глаза ее — черные звезды. Она пьют мою кровь — черные звезды. Я боюсь. Послушай, старуха, — боюсь я!..

Кот фыркнул глумливо. Отошел. Тухли, пылали, золотом красным, угли. Дождь плясал на свинцовых переплетах уснувших окон.

Хохотом — визгом крысиным — старуха смеялась:

«Мой милый, жених мой пришел»...

...В саду вечером, в синем тумане, сидит на мраморной скамье — женщина в мехе крысином...

Он крикнуть хотел — беззвучно шептал он. Уста старушечьи впились в белую шею его.



У КАНАЛА

У канала решетки чугунные уползают в зев арки моста. Туман безглазый ползет у канала, когда уходит ночь, и видится разсвет. Клубится гривами туман зловонный.

В тумане я видел трех женщин.

Трех женщин белых на мосту я видел. Отвислые груди, с сосцами припухшими, и рты гнилые...

Шепчутся оне. Оне слепыя. И шопот их в моей душе качается неслышно.

О трех кладбищах оне шептали. От трех ворот городских вместе с туманом пришли и шептали...

...Кости трушатся в могилах. Узкие черви ворошатся в липком мозгу. Девичьи очи в могилах зияют провалом немым. Мясо смердит и плеснеет... Сердца же людския теплы и вкусом прекрасны — шептали оне. И улыбкой дышали прогнившие рты...

Не ходите к каналу тому. На разсвете спите. Спите снами юными, вешними, робкими.

НОЧЬ

В ночи я шел безголосыми улицами. Кривыми, узко-извилистыми, тупыми. Улицами, умершими в мраке. Только в просветы между сцепившихся крыш луна бросала холод стали голубой.

Тени двигались у стен домов. Зловеще ждали в воротах темных. Люди давно уснули в жарких альковах, под ватной, красною периной.

Толстые люди — на маленьких ножках.

Дома проснулись. Жили-дома, нависшие тяжело. Тысячи глаз следят за шагами моими. За каждым движением следят дома и ненавидят. И раздавить хотят...

Я вышел за город — в поле, пронзенное иглами смерти. Завороженное нитями лунными. Шел и услышал бег за собою. Упорный, мерный и тяжелый. И оглянуться назад уже не мог... Мне страшно. Побежал.

Я знаю... Двинулись мерно дома — большие, тяжелые, легкие. Дыхание слышу — это дышет прерывисто маленький дом. Деревянный стоял он на угрюмом углу улицы грязной. Он стучит, как трещеткой, дребезжащими, старыми досками... Мне страшно.

И чувствую, ближе к луне я поднялся. Над домами, на воздух. Нет, о, нет! Я бегу по земле, а на встречу — луна. Мне на встречу луна крадется старушечьими шагами. Серая она, с глазами рыб сонных. Поцелуйной улыбкой сжались уста. Улыбкой гадкой и развратно-прекрасной...

И в уста изумрудные твердые целовал я ее.

БЕЛЫЙ ДВОРЕЦ

Игорю-Северянину и Мирре Лохвицкой.

В саду старинном, над обрывом, в кружевах ветвей сплетенных, горит колоннада — когда горит солнце. Когда горит солнце — горят бриллиантовые слезы на стеклянных дверях дворца над обрывом. Когда тонкоголосо поют за рекою, когда гонят домой золотья стада, стада курчавыя в золотисто-розовой пыли — юные входят в дворец над обрывом.

В Белый Дворец — над обрывом.

На длинном столе, убранном скатертью белой — бокалы с вином. Бокалы узкие с вином огнистым и черным, как крик между стен.

Они приходят в зеленых камзолах, в серебряных кудрях душистых париков и пьют вино. Бледнеют молча. И ждут, когда на курантах блестящих, высоких часы будут бить. Куранты стальные бьют только — 12.

В двенадцать часов из двери потайной идет воздушно Девушка чистая. Она танцует. Танцует между узкими бокалами, и сонной пляской ворожит. Без шума танцует Девушка чистая. Только груди трепещут, как белыя птицы...

И юноши, в серебряных душистых париках, шепчут Ей шопотом робким и страстным — Ты для меня. Ко мне.

— Только ко мне.

Чистая Девушка звонко танцует. Груды трепещут. Искрятся голубыя руки. И в танце юноши бледные, в камзолах зеленых, слышат ответ музыкальный:

— Для никого — Я. Для никого — Я.

НЕВЕСТА

В склепе, цепляясь мохнатыми ножками в щели осклизлых кирпичей, скользили мокрицы — и гробы стояли. Гробы стояли, опутанные паутиной жирной и серой.

И в склеп, под плиты соборные, гроб опустили еще.

Этот гроб — был гроб невесты. Перед брачною ночью она умерла. Она лежала в фате венчальной с букетом ландышей из воска.

Когда сорвались с острой колокольни звоны усталые и замолчали — те, кто раньше лежали в склепе соборном, подошли к розово-белому гробу...

Старик-скелет, дрожа позвонками, шептал не шепча:

«Ладаном пахнет. И свечами горячими. Хорошо как, — ладаном пахнет».

И все зашептались: — «Хорошо как, — ладаном пахнет». А старуха в шелковых перчатках, в истлевших кружевах, лорнет навела и шепнула. Шепнула, могильных червей отряхая с губ липких.

«Но что же она не встает?.. Разбудите»... И разбудили ее. Она молчала, в фате венчальной, с букетом ландышей из воска. И плакала незримыми слезами. И пахло ладаном, нагаром свечей погребальных. Мертвецы, шелестя червями напухлыми, шептали ей не шепча:

«Ты плачешь. Не плачь. Мы найдем для тебя жениха»...

...Во фраке бальном, с засохшей хризантемой в петлице, череп изъеденный ей улыбнулся и протянул костлявохрустящую руку. И жадной улыбкой мертвеца отвечала невеста ему.

И пошли они, гадко прижавшись друг к другу, в тьму, где шуршали мокрицы безцветные...

CLAMOR HARMONIAE

Я ласкаю нежные кисти рук твоих и целую бледные суставы пальцев твоих, о сладчайший.

Я вдыхаю запах хитонов твоих, ароматных от вянущих лавров, влажной земли и роз багряных.

Я молюсь тебе, о, прекрасный, созданный мною.

Душа моя — миллионы изломленных, тревожных зеркал и в гранях зеркальных тускнеет вечность и отражают причудливые очертания свои миры и вселенныя.

На утренней росе, когда рождается солнце в алом и дымном тумане, я бегу с седыми оленями к снеговым горам севера. И встречаю там богов моих, веселых и радостных. И смеюсь я там с ними и пляшу вместе с ними, розовея и пьянея от холода.

Я люблю их, ибо они, прекрасные, созданы мною.

Вот я иду, подымая ногою ворохи червонеющих листьев. Голудная ящерица уснула в валежнике и я буду ступать осторожно, чтобы не встревожить ее.

И буду целовать упавшее птичье перо и омыwać себе руки пахучей росистой травой.

О, как прекрасна холодная зеленоватая плесень на стенах городских каналов и капли дождя на чугунных решетках.

Я подыму в пыли у дороги, придавленный и смятый тяжелым колесом, придорожный цветок и возьму его в грудь мою и он отдаст мне и мертвые лепестки свои и нити голубых и неясных жилок своих.

Бледную девочку с темным и печальным взглядом, встречу я на панелях города и буду венчать ее на призрачный трон белых стран моих, бледную девочку, маленькую королеву мою. И буду целовать ее грязный атласный башмак и золотистыя волосики на затылке.

Все мое и нет ничего кроме меня. Я создал вселенныя и я создам мириады вселенных ибо они во мне.

И вешняя лужа, в которой утонуло все небо с белыми купавами облак, — моя.

Вот я вижу землю и кажется она мне серым зерном, которое я могу сдунуть с ногтя моего, но на драгоценных пергаментях начертаю я тайны: знаки медно звучной поэмы моей о тревожной, увлажненной дымною кровью земле. Ибо я поэт.

Желтыя с синими жилками груди старухи прекрасны, как сосцы юной девушки, нежной, точно лесной снег, уснувший на тяжелых черных ветвях.

О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая ломовая лошадь.

О, дай поцеловать мне серыя ладони твои печальный негр. Меднозвучныя и тревожныя, как гул набатов, поэмы сложу я тебе, о, человек.

И увидишь ты полыхание зарев и грохот ревущий органов и флейт ты услышишь, о, человек.

БЕЛЫЙ ПЯЦ

С ним можно встретиться в глухом переулке предместья. Он в потертом драповом пальто, и его небритое горло обвязано красной фланелью. На сжатых в больной гримасе губы, свисает острый и тонкий, как клюв коршуна, — нос. И весь он похож на коршуна.

...На море был, вероятно, — шторм. Ветер хлестал мокрым снегом черные заборы и шумно свистел в проволоке обледенелых проводов. Качались голые ветви, грозя тьме, как чьи-то изогнутые и длинные пальцы. Снег таял на лице и слезился в стеклах фонарей.

Я заметил его в глухом переулке. У фонаря вспыхнула красная фланель его шарфа. Клювом спускался нос над острым подбородком. Метнулись в мою сторону темные глаза.

Ветер носил волны снега. Злые горбатые старики играли в прятки с черными ставнями домов, уносились бешеным хороводом во тьму, протяжно и жалобно стонали где-то за заборами у мертвых голых ветвей ...

Он, кажется, пел, а может быть, он плакал — я не знаю.

Мы были одни в уснувших кварталах. Я, как вор, крался за ним по заборам, цепляясь пальцами за скользкие холодные доски. Осторожно ступал в глубокий рыхлый снег и не отирал талых капель со лба и с губ. Я крался за ним.

Старики наметали ему в спину седья космы колких и холодных волос. Они хотели подхватить его в бешеный хоровод, бросить в мертвые пустыри, чтобы там во тьме плясать над ним с кошачьим визгом и хохотом.

Мы вышли на набережную, где ветер шумнее свистал и хлестался. Далеко-далеко висел узкий контур моста, и играли пятна сторожевых огней — красные и зеленые.

Город притаился и спал безпокойным большим зверем. В угрюмом небе дремали бледные зарева... Шторм вероятно в море, и жены рыбаков теперь молятся Пречистой Деве, вслушиваясь в глухой угрозовый прибор...

Я крался за ним. Он остановился у темной дощатой стены и нагнулся, открывая маленькую дверь. Сгорбился и вошел. За стеной что-то хлопалось и трепетало, как большие крылья темной птицы. Я подполз близко к дверцам и холодными пальцами искал в ней какой-нибудь щели. Золотистая свето-полоска резнула глаза. Я взглянул за дверь... Это уборная балагана. Тусклое зеркало на кривом столе, в углы свалены пестрые тряпки и мяты платья с зелеными блестками. Трепетали, точно крылья птицы, мокрыя обледенелая полотнища у входа в балаган. Еще сегодня днем здесь дребезжали и выли медные трубы, барабаны грохотали и обмерзшие девушки в платьях с зелеными блестками зазывали толпу. У этих девушек тонкие прозрачные плечики и губы синеют на бледных больных лицах ...

Оплавившая свеча высекала каменным лицо того — похожего на коршуна, — и его трепетная тень зыблилась на заиндевелых досках стены. Он сбросил свое драповое пальто и стоял весь в белом, — в широких одеждах паяца. Я видел, как он нагнулся к свече, оправляя смятые кружева просвечивающих рукавов, и черная тень росла и ломалась между балок потолка. Он неожиданно повернул голову к дверке, за которою притаился я. Выбелено его лицо и алеет излом кровавых губ. Глаза темны, как провалы глухих переулков, где ночью гибнет случайный крик заблудившагося ребенка... Он стоял, как стоят паяцы на балаганных подмостках. И пел, но я не мог слышать лихорадочных невнятных слов. Он кружился в истомном плавном танце и сжимал свои руки, точно покорное и гибкое женское тело. Раскланивался и хохотал. Хохотал и раскланивался.

Мне казалось, что провалы его глаз стерегут меня, что мне он поет лихорадочные безумные песни — белый паяц... Снег холодил грудь и живот. Я отполз от дощатой стены, вскочил и побежал не оглядываясь. И за мною гнался его хохот. А может быть, это хохотали одинокие злые старики, кружась над мертвыми пустырями?

Когда я бежал в занесенных снегом кварталах, — мне вспомнился больной коршун, которого я видел в зверинце. Был знойный и душный день. Оранжевые прозрачные зон-

тики женщин пестрели в просветах зелени. Сыпучий желтый песок дорожек чуть-чуть отдавливал следы шагов. Я стоял у клетки больного коршуна. Он вцепился синеватыми когтями в чугунную решетку, и его круглые темные зрачки искали кого-то в знойном небе, — над толпою. Коршун бесильно бился у прутьев решетки, точно хотел взлететь и кинуться в холодные пропасти, распластав сильные крылья в свистящем воздухе...



REQUIEM

...Играя синими блестками платья, качается на разбитом электрическом фонаре труп танцовщицы из цирка. Играющие блестки долго горели и гасли над головами толпы, когда труп сбросили с фонаря... Бьются в лабиринте улиц глубокие стоны бегущих. Мгновенно сверкают в темноте дрожащие клинки шпаг и кинжалов... Из подвалов Морба и от кладбищ, где сочится в городские каналы скользко-желтая жижа могил, — выполз и поднялся зверь. И полз он, — волоча липкие шлейфы мокрой шерсти, задевая костистой спиной выступы железных крыш. Подымалось дымным туманом ядовитое дыханье с каналов и оседало холодными каплями на каменных водоемах, у фонтанов и в окнах. Звенели под тяжелой ступней согнутые ажурные решетки. На асфальте тротуаров скользили брызги мозгов.

Темными и скученными стадами бежали люди. У домов с обвислой, как стружья, штукатуркой задыхались сжатые толпой и в бешеных тисках гибли раздавленные дети. Пробирая дорогу, с хрупотом перекусывали горла. И тонули в провалах запуганных улиц.

В арсенале загремели раскаты звенящего взрыва и в навислом небе мелькнули огненно быстрые руки. Пламя кинуло в тьму острия зыбкие лезвия — зашумел трепещущей пляской пожар...

Сыпясь гремящими кирпичами, рухали фабричные трубы. Огни бриллиантов сверкали в осколках и брызгах лопнувших стекол. Угрюмо свистя, сплывало железо растопленных крыш. А в Морбе капала, как и раньше, ледяная вода из медных кранов и жутко пробегали на мертвенно-острых лицах огневые тени.

Кроваво-волосые старухи плясали в улицах, вскидывая веером пламенные одежды.

Как гигантские струны, лопались жгуты проводов. И повисали черными змеями в океане огня, — трепетно извиваясь. Стаи диких старух взметали пламенные одежды над расплавленной сталью, в капеллах холодных и домах разврата...

Розовые сладкие женщины иступленно рвали вислые груди, оплеванные поцелуями улиц.

Город ревел. Смертельный ужас хохотал в огненных улицах. Лились разорванные грохоты. В тьме неба, точно ключья пурпуровых знамен, реяли и трепетали шумные взмахи буйного пламени.

Рушились белья колоннады музеев. Плавил огонь стеклянную мозаику изысканных фресок. Сморщенная кожа книг и пергаментов распылялась и мрамор белых изваяний чернел. Паутины трещин рассекали иконные лики и шипели горячие пузырьки, съедая светлые крылья серафимов и алья розы.

Смрадными ручьями текла жидкая слизь от скотобоев. И были слышны в хохочущем свисте старух ревы запертых широколобых быков. В низкия ниши ворот старухи бросали горячие взмахи одежд, разгоняя кошек, стонущих в муке сладострастия.

Темный зверь брал квартал за кварталом. В смрадном пепле выгоревших переулков, между дымовых и обугленных каменьев, над остовами испепеленных стальных мостов, — полз зверь.

Холодное дыханье тушило голубые огни тлеющих углей. Мокрые шлейфы сметали червонные от огня развалины.

В глубоком и бархатном трауре звонов за зверем шла — Смерть.

Устало реяли ключья пурпуровых знамен. Кончали старухи в мертвых улицах свои истомленные плясы.

У широких мраморных лестниц набережной кружились белые хороводы людей. Светлые телом, они шли в пепелящий огонь костров. Рыхлый жир плыл и обнажались синеватые мышцы...

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНЫ ГОЛУБЫХ

Первый день после конца.

11 человек здесь со мною... Порвана, вероятно, вся сеть. Старик уже умер, а моя дочь холодеет и все хочет мне сказать что-то. Мы все умрем скоро, но покоен я. Я могу еще писать и, может быть, прочтет кто-нибудь мои записи. Холодно. Чувствую я, что мы последние Страны Голубых и пергамент мой истлеет или замерзнет в холоде мертвой земли. Мы — последние. 11 нас... Нет — 10. Дочь моя умерла. Умерла. Холодные пальчики, ледяные...

Я хочу рассказать о последней революции на земле. Холодно, холодно.

Второй день.

Я гражданин великаго Города Мира. Когда-то, давно, — вся земля была разбита кусками и предки наши кусали и рвали ее и была кровь и гибли люди. Эти огромные, розовые люди, у которых было солнце. О, солнце! Много солнца, точно вся земля тогда была прозрачной и пылала огнями и алый виноград зрел и наливался кровью в тяжелом горячем зное. У предков наших — серые крепкие кости, — я видел их на кладбищах, глубоко под землей там грудями гниет осыревший кирпич разрушенных, нами забытых городов... Я не знаю, что было потом... Какая-то долгая, тяжелая кровью война всей земли... Катастрофы, расколовшие мир, как неудачную форму.

Я родился в третий день весны и был до последней революции гражданином города: я вел записи часовых оботов главного колеса. Вместе с другими работал я в подземных мастерских, где мы создавали и пищу людей и снаряды смерти. Еще недавно мир ждал войны. Голубые юга хотели уйти в землю от солнца, а мы думали строить стеклянную стену над всем земным шаром. Но уступили южане и мы уже клали основы гигантскаго свода... О, солнце! У нас не было солнца. Давно, в дальние времена, говорят люди молились ему и слагали о солнце песнопенья, а мы с

ним боролись. Ученые наши, инженеры и техники — перекинули над землю густую сеть, пропитанную теплым газом и каждый день проверялись скрепления сети и гудели и тархтели машины, вырабатывая запасы страшной теплоты. Мы не знали солнца. Я слышал смутно-смутно, что живет там за сталью крыш, за гигантскими проводами, в тьме сети — осторожный и холодный враг. И нужно бороться с ним, но многие уставали. Каждый день находили трупы на скреплениях воздушных лестниц и под зубьями огромных колес.

Только весною смеялись мы. В день, когда лаборатории выпускали на землю пахучий странный газ, когда мы задыхались от широкого аромата — в день Весны, утихал неумолкный грохот машин, останавливали свой скользкий бег ремни и только щупальцы осветителей струили голубой свет. Мы искали женщин в день Весны. Боролись из-за них в жидком сале у остановившихся колес, перебежали воздушные лестницы, падали в колодцы глухих корридоров. Мы искали женщин... А солнца не знали мы. Три гения — правители нашей страны, — следили за каждым, окружив его сетью шпионов. И, если некоторые из нас запевали какую-то песню, их уводили шпионы. Я не знаю куда. Так погиб мой отец. Этой песни не знал я. Вероятно, старая песня и ее, быть может, еще пели люди, у которых такая огромная серая кость.

Холодно. В углу колодца поет и стонет голубоокий мальчик. Меня не греют тяжелые ткани: — замерзли, хрустят под пальцами. О, солнце.

Третий день.

Это случилось незадолго перед тем, как наша смена уходила в свои колодцы — теплая, усталая мягкими тканями. С надземных улиц был слышен гул; так ревел пар за заслонками расплавленных печей. Я был с другими у выхода, когда из полутьмы, по стальному канату скользнуло чье-то тело, сверкая, как жемчуг в голубом тумане. И упа-

ла нам под ноги девушка. Она смеялась, как весной. Пела, скидывая руки и приплясывая... У меня тени побежали в глазах. Зеленая, точно свежее масло машин, листики и тонкие щупальцы на тяжелых стволах. И видел я широкие воды. Железные берега, камни и белых птиц я видел. Я пел, я смеялся и плясал с другими. Мы, кажется, пели о солнце.

Мы пели о том, что у нас много солнца, что цветет молодой виноград и чайки плещутся в море. Свежий ветер шумит в траве. Пляшут на солнце голые женщины...

Тьма была в улицах города. Осветители потухли, издохнув, как голубые науки. Я запутался в тонкой проволоке и упал, прижатый к стальному болту рельсы бегущими. Я видел... Вероятно, лопнуло крепление сети или, быть может, спайки проводов расщепились, — только стала прозрачной тьма и холодная, как стальной блеск, полоса упала и прокатилась по уходящим в тьму рычагам, в переплете воздушных мостов, над острыми гладкими крышами. Я видел, как в полутьме, давя и разрывая друг друга, бежали глухие темные толпы.

Я видел безумные схватки у воздушных аппаратов и у подъемных мостов. Многие запутанные стальной паутиной, висели высоко, высоко. И корчились и извивались. Тяжко рыкали пылающие аппараты. И пели все. Я терпел и смеялся и хотел бежать с другими, но меня придавили к болту рельсы. Я видел, как маленькие люди, гримасничая и приплясывая ползли по широким ремням, перекинутым через крыши, цеплялись за скользкие рычаги и пропадали высоко в темноте... Защитительную сеть разорвали. Бледное и прозрачное небо залило барьер холодным потоком. Слепил глаза — круглый белый враг. Помню что холод обжег мое тело и я, оторвав пальцы от замерзшей стали, упал куда-то. Я не знаю — почему я здесь, в этом колодце. Нас 10 и моя дочь. И все они смеялись, гримасничали и пели, когда пришел я.

Дверь завалена холодными, замерзшими трупами, а сверху падают глухо еще и еще чьи-то окостенелые ноги и голова с выеденными холодом белками; придавлены дверью горы замерзших трупов за дверьми.

Моя дочь умерла в первый день, умер старик и голубокий мальчик. А другие поют и стонут и нет уже сил вылезти из под вороха обмерзших тканей. Они скоро замерзнут, но поют они. Поют и стонут. Я не понимаю их бреда... Чаек и море я вижу.

Ветер шумит. Пробежал в чаще олень, разбивая рогами ветви. Женщины пляшут и солнце. Солнце. Солнце.

Тихо и холодно. Весь город Мира завален окоченелыми трупами и тусклые зрачки мертвых глядят туда в прозрачный с белым холодным шаром, провал. Рты искривлены, вытянуты руки, тусклый иней заледенил голыя голени. Горит холодом сталь ненужных рельс, рычагов и колес. Все — не нужно. Заметет колкий иней землю и лед похоронит ее. Тишина. Тишина... Хорошо мне. Я вижу сосны, сыпучий песок, камни. Ко мне придут теплые медведи и слетятся стаи белых чаек. Волосы ветер растреплет. Солнце. Солнце.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТИХИ

И. Северянин. Электрические стихи

...И вся эта книга — Молитва Миражно-голубым берегам, где миражится голубой принц в хороводах. Где кружатся то тихо, то быстро «головки женщин и хризантем»...

Он устал, поэт. И в трауре месс, как большой гордый зверь, он «плутал» в сонных туманах, в садах, утопленных в луне. И бился в одном из колец, брошенных Маем. А душа высекала пугливые искры, трепетали взмахи. Устало глядел он в мутно слепые глаза, слушал грязные стоны. Хотел разсмеяться всему, но губы неожиданно изломались болью. («Похоронная Ирония», «Chansonette», «Гурманка»).

И боль, как боль ребенка, трагично и просто разлилась откровенными кровью песнями. («В шалэ березовом», «Озеровая баллада», «Импровизация», «Марионетка проказ», «В предгрозье», «В парке плакала девочка»...).

Вскинулась скорбь и оборвалась... В оркестре обрывают свою игру страстные скрипки и виолончели, и только оргán молится кому-то устало. Устало молит — один оргán... Так и поэт. Хотел смеяться, но в пляске Мая увидел тайныя кольца. Смех переплелся с рыданьем. Рыдал и смеялся. Рыдал.

А душа уже пела в прошлом, рыдая... Изгибная линия исчезнувшего тела... Вдалеке — виолончель... Княжна рыдала перед ливнем... Триолетные кудри... Фиалковая глубь очей...

Опять взмахнули тысячи страстных смычков — поэт бросил в сонные туманы пламень знойных песен. Сверкнул и залился огнем. «Разказ путешественницы». Смычки взмахнулись и застыли. Орган.

Печальный оргán, точно король, правит черныя мессы над дофином умершим. Тоскует оргán («Сириусотон», «Nocturne», «Яблоня-сомнамбула», «Фиалка»).

Гремит властно и глубоко. И властная тоска растет-растет, и в той тоске слышны напевы молитв. Кому? Напевы молитв миражному берегу, молитв Созидающему Оленя, молитв к «той, кого не знаешь и узнать не рад»...

И вот молится в больном экстазе поэт. Экстазы молитв несут его белой ночью в лунныя глубины на яхте воздушной. Несут туда, где «снега, снега — как беломорье...» В лесную глубь. Оргány слились в невыразимо больной молитве. Ор-

гáны унесли поэта в стеклянные покои. И гудят, и грохотливо рыдают, разбивая звуки о стеклянные стены, а поэт один, как в пропастях летящий орел.

Но горд поэт и смел: он в комнате стеклянной поднимает бокал, пьет тост безответный — Тринадцатой. А у ней, может быть, льдисто-холодные руки, у Тринадцатой? И не приходит она потому, что трепеты изменчивых, как искры электричества, оргáнов слепят Ее.

ИВАН ЛУКАШ

Биографический очерк



Иван Созонтович Лукаш (1892-1940) родился в семье швейцара Академии художеств (по семейному преданию, позировал И. Репину, написавшему с него казака с забинтованной головой на картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Мать И. С. Лукаша заведовала столовой академии.

Лукаш учился в Ларинской гимназии и частной гимназии Л. Лентовской; по окончании курса поступил в 1912 г. на юридический факультет Петербургского университета, который закончил в 1916 г. с выпускным свидетельством.

В юности увлекался эсерами, испытывал революционные симпатии. Затем сблизился с эгофутуристами; знакомство с И. Северяниным вылилось в издание кн. Цветы ядовитые (1910). В 1912 г. участвовал в изданиях группы И. Игнатьева (альм. *Оранжевая урна* и *Стеклянные цепи*, газ. *Петербургский глашатай* и *Дачница*). Публиковался также в журнале Н. Шебуева *Весна*.

Перед Первой мировой войной начал сотрудничать как репортер в газете *Современное слово*. В 1915 г. поступил добровольцем в Преображенский полк, провел полгода на фронте в тыловых учреждениях. Во время Февральской революции занимал кадетские позиции, писал пропагандистские брошюры. В середине 1918 г., спасаясь от красного террора, уехал из Петрограда в Киев, поступил в Белую армию. До эвакуации из Крыма сотрудничал с белой прессой в Симферополе.

В эмиграции Лукаш жил в Софии, где опубликовал книгу *Голое поле: Книга о Галлиполи* (1922), позднее Берлине и Риге, где был одним из редакторов газеты *Слово*.

В Берлине вышли мистерия *Дьявол* (1922) и «поэма» в прозе *Дни усопших* (1922), автобиографический роман *Бел-цвет* (1923), сборник рассказов *Черт на гаупвахте* (1922), повесть *Граф Калиостро* (1920). В Берлине сотрудничал с В. Набоковым, совместно с которым писал сценарии и либретто пантомим. Одновременно широко публиковался в эмигрантской прессе разных стран; его произведения 1920-х гг. зачастую насыщены фантазмагорическими и мистическими мотивами. Политически занимал правые позиции, считался откровенно «белогвардейским» писателем. Вместе с тем, талант его и при жизни, и после смерти признавали многие эмигрантские литераторы от Р. Гуля и А. Толстого до В. Набокова.

Переселившись в Париж, Лукаш обратился к исторической беллетристике (сборник рассказов *Дворцовые гренадеры*, 1928, роман *Пожар Москвы*, 1930), сотрудничал в газете *Возрождение*. Исторические рассказы, замешанные на «петербургском мифе» и зачастую мистицизме, были собраны также в сб. *Сны Петра* (1931). В 1936 г. был опубликован роман *Вьюга*, написанный для объявленного в 1933 г. конкурса по изображению разрушительного влияния «психологии большевизма». Последние романы Лукаша *Ветер Карпат* (1938) и *Бедная любовь Мусоргского* (1940) были написаны в условиях нужды и прогрессирующего туберкулеза. Писатель скончался в Париже 15 мая 1940 г.

КОММЕНТАРИИ

Эгофутуристический период в творчестве И. С. Лукаша (1892-1940) продлился, по всему судя, пять лет (1910-1914). Составители антологии *Поэзия русского футуризма* утверждают даже — ни словом не упоминая о книге *Цветы ядовитые* (1910) или футуристических публикациях 1911-14 гг. в журнале Н. Шебуева *Весна* — что «его сотрудничество в футуристических изданиях не было ни продолжительным, ни интенсивным, ни особо плодотворным»¹. Но с формальной точки зрения утверждение это не грешит против истины: из «официальных» футуристических изданий Лукаш успел отметиться лишь в публикациях группы И. Игнатьева (газ. *Петербургский глашатай* и *Дачница*, альманахи *Оранжевая урна* и *Стеклянные цепи*). Здесь Лукаш печатался как под собственным именем, так и под псевдонимом «Иван Оредеж» — по названию поселка под Петербургом, где жил летом.

Все эти публикации ограничивались 1912 г.: после двух первых альманахов «Петербургского глашатая» имя Лукаша-Оредежа совершенно исчезает со страниц изданий И. Игнатьева, не входил он и в «ареопаг» последнего.

Возможно, между Лукашем и соратниками Игнатьева произошла какая-то размолвка, тем более что Лукаш оставался в эгофутуризме белой или, скорее, черной вороной. Явное влияние У. Уитмена (*Я славлю!, Clamor harmoniae*) в чем-то роднило Лукаша с кубофутуристами. С другой стороны, разделяя с И. Игнатьевым или В. Гнедовым некую общую мрачность, он уже в *Цветах ядовитых* внес в эго-футуризм собственную отличительную ноту, восходящую к старшим символистам и декадентам, а через них — к Ш. Бодлеру и романтическим «ужасам» в духе Э. По. В этой крошечной книге Лукаш, как замечает биограф, «с юношеской отзывчивостью на “ужасное” рисовал “макабрские” образы зловещих старух, оживающих мертвецов, картины тления и т. п.»². Вызывают несомненный интерес попытки Лукаша использовать эти макабрические мотивы в сочетании с научной фантастикой (*Последние*

¹ Поэзия русского футуризма. Вступ. статья В. Н. Альфонсова. Сост. и подг. текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого. Персональные справки-портр. и прим. С. Р. Красицкого. СПб., 1999. С. 379.

² Чанцев А. В. Лукаш Иван Созонтович // Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1993. С. 401.

Страны Голубых, 1914). Оборванный войной ранний период творчества Лукаша не пропал втуне: писатель и в дальнейшем, особенно в произведениях 1920-х гг., сохранил склонность к гротеску, мистицизму и фантастике.

Все включенные в книгу произведения публикуются по первоизданиям. За исключением отмеченных случаев и упраздненных букв, нами сохранена авторская орфография и пунктуация. Безоговорочно исправлен ряд очевидных опечаток.

В оформлении обложки использована работа А. Мартини.

Я славлю!

Оранжевая урна: Альманах памяти Фофанова. СПб.: изд. газ. «Петербургский глашатай», 1912, за подп. «Иван Оредеж (И. С. Лукаш)».

С. 7. ...*герму* — Герма — обычно четырехгранный столб со скульптурной головой бога, героя, философа, государственного деятеля и т. п. Гермы, заимствованные римлянами у древних греков, несли защитную функцию, ставились на перекрестках дорог и улиц, на площадях, у оград, храмов, библиотек, гробниц и пр.

В связи с этим стихотворением и опубликованным ниже *Clamor harmoniae* К. Чуковский писал: «В петербургском эгофутуризме наблюдается такой же культ Уолта Уитмана. Там появился рьяный уитманист Иван Оредеж, который старательно пародировал “Листья травы”»:

Я создал вселенные, я создал мириады вселенных,
ибо они во мне,
Желтые с синими жилками груди старухи прекрасны,
как сосцы юной девушки,
О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая
ломовая лошадь...

и т. д.

Это почти подстрочник, и о другой поэме того же писателя, помещенной в альманахе “Оранжевая урна”, Валерий Брюсов воскликнул:

“Что же такое эти стихи, как не пересказ „своими словами“ одной из поэм Уолта Уитмана?”³

Больныя гримасы

Весна: Орган независимых писателей и художников. 1911. № 22., за подп. «Иван Лукаш».

С. 10. ...сэндвичи в торжественной процессии — «Сандвичами» назывались в то время люди, расхаживавшие с надетыми на шею и прикрывавшими грудь и спину рекламными плакатами. Зачастую такие «сэндвичи» вышагивали гуськом по центральным улицам.

Цветы ядовитые

Лукаш Иван. Цветы ядовитые. СПб: тип. И. Флейтмана., 1910.

Выходу книги способствовал И. Северянин (И. В. Лотарев, 1887-1941). О тесном общении двух поэтов свидетельствуют письма Северянина 1910 г., в которых он упоминает о Лукаше как о частом госте, и посвященные Лукашу стих. Северянина *Вне* и *Воздушная яхта* (оба — 1910).

С. 14. *Цветы ядовитые* — аллюзия на *Цветы зла* (1857-61, расширенное посмертн. изд. 1868) Ш. Бодлера (1821-1867). Ср. позднее у Северянина «ядоцветы» в стих. *Цветы и ядоцветы* (1911).

³ Уолт Уитман. Избранные стиховорения и проза. Пер., прим. и вступ. статья К. Чуковского. М., 1944. С. 207. Чуковский цитирует статью Брюсова «Новые течения в русской поэзии: Футуристы» (Русская мысль. 1913. № 3, март).

С. 21. *Игорю-Северянину и Мирре Лохвицкой* — Как известно, Северянин не только восторгался творчеством поэтессы М. А. Лохвицкой (1869-1905), но и создал вокруг ее образа персональный культ, активно насаждавшийся им в эгофутуризме.

Clamor harmoniae

Петербургский глашатай: Чрездельная газета Жизни, Театра, Литературы, Художества (СПб.). 1912. № 2, 11 марта, за подп. «И. С. Лукаш».

С. 23. *Clamor harmoniae* — Гармонический крик (лат.).

С. 25. *О, дай поцеловать мне темные зрачки твои, усталая ломовая лошадь* — Ср. с общефутуристическим «хорошим отношением к лошадям» у В. Хлебникова, В. Маяковского, А. Фиолетова, В. Шершеневича и и т.д.

Белый паяц

Весна: Орган независимых писателей и художников. 1911. № 28., за подп. «Иван Лукаш».

Requiem

Весна: Орган независимых писателей и художников. 1911. № 27., за подп. «Иван Лукаш».

Последние Страны Голубых

Весна: Орган независимых писателей и художников. 1914. № 5, за подп. «Иван Лукаш».

Электрические стихи

Стеклянные цепи: Альманах эго-футуристов. СПб.: изд. газ. «Петербургский глашатай», 1912, за подп. «Иван Оредеж».

С. 38. *И. Северянин. Электрические стихи* — Рец. посвящена брошюре И. Северянина *Электрические стихи: Четвертая тетрадь 3-го т. стихов.* Бр. 30 (СПб., 1911), куда вошли все указанные ниже стихотворения.

С. 39. *...миражится голубой принц в хороводах* — Парафраз стих. И. Северянина *Октава* (1910): «Замиражится принц, бирюзы голубей!»

С. 39. *...«головки женщин и хризантем»* — Цит. из стих. И. Северянина *Хабанера III* (1910).

С. 39. *И в трауре месс, как большой гордый зверь, он «плутал»...* — Контаминация мотивов и цит. из стих. И. Северянина *В предгрозе: Этюд* (1910) и *Квадрат квадратов* (1910).

С. 39. *...в пляске Мая* — Имеется в виду стих. И. Северянина *Пляска Мая* (1910).

С. 39. *Изгибная линия исчезнувшего тела* — Цит. стих. И. Северянина *Пленница: Сонет (Из Анри де Ренье)* (1910): «И линию исчезнувшего тела / К которому желание крылит».

С. 39. *Вдалеке — виолончель...* — Цит. из стих. И. Северянина *Вечером жасминовым: Nocturne* (1910).

С. 39. *Княжна рыдала перед ливнем...* — Намек на стих. И. Северянина *В предгрозе: Этюд* (1910).

С. 39. *Триолетные кудри...* — Цит. стих. И. Северянина *Сонет* («Ее любовь проснулась в девять лет»): «И кудри вились точно триолет...»)

С. 39. *Фиалковая глубь очей...* — Цит. стих. И. Северянина *Сонет* («По вечерам графинин фазтон...», 1910): «В ее очей фиалковую глубь / Стремилось сердце каждого мужчины».

С. 39. ...«той, кого не знаешь и узнать не рад» — Из стих. И. Северянина *Тринадцатая: Новелла* (1910): «Той, кого не знаю и узнать не рад...»

С. 39. ...«снега, снега — как беломорье» — Цит. из стих. И. Северянина *Алтайский Коктебель* (1910).

С. 39. ...на яхте воздушной — Подразумевается посв. И. Лукашу стих. И. Северянина *Воздушная яхта* (1910).

С. 40. ...в комнате стеклянной... тост безответный — *Тринадцатой* — Речь идет об упомянутом выше стих. *Тринадцатая: Новелла* (1910).



Оглавление

Я славлю!	5
<i>Больные гримасы</i>	
1. Сирень в граненом фиале	9
2. Полишинель	9
3. Кареты	10
4. Мыло молодости	10
5. Девочка с собакой	11
6. Шутка смерти	11
7. Оловянные солдатики	12
8. Сентиментальность	12
9. На площадке	13
<i>Цветы ядовитые</i>	
Смерть	15
Черноокий вампир	17
У канала	19
Ночь	20
Белый дворец	21
Невеста	22
<i>Clamor harmoniae</i>	23
Белый паяц	26
Requiem	30
Последние Страны Голубых	33

Электрические стихи	38
<i>Иван Лукаш. Биографический очерк</i>	41
Комментарии	43

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.